

ТАРАСОВА КРИСТИНА

18+

ТЕЛА

СКАЗ I



"Тела - монеты, тела - валюта, и только люди продолжают молиться на ранящие их ножи"

Кристина Тарасова

Тела. Сказ 1

«ЛитРес: Самиздат»

2020

Тарасова К. В.

Тела. Сказ 1 / К. В. Тарасова — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Обезумевший мир будущего: тело и деньги возведены в культ, земли поразили чума, войны, технический регресс и ложное вероисповедание. Атмосферу гниющих городов, мрачных людей и религиозного фанатизма разбавляет Монастырь – бордель, в который продают главную героиню Луну. Хозяин Монастыря, противясь давно позабытым чувствам, готовит Луну к процедуре новоприбывших: он должен продать ее невинность вопреки личному желанию и тайному влечению. Так ли проста новая послушница?

© Тарасова К. В., 2020

© ЛитРес: Самиздат, 2020

Содержание

Девочка	5
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Кристина Тарасова

Тела. Сказ 1

Девочка

Я счастливая.

Так сказали сёстры (и приобретённые, и позабытые дома), когда узнали о моём будущем в Монастыре.

Нашим хозяином был знатный господин из пантеона небесных богов. Одни говорили, что он – властолюбивый и скупой, угрюмый и жестокий, другие же – что он уродлив, некажист и неуклюж, однако богат и с девочками своими обходителен; третьи утверждали, что он – пьянящей красоты душегуб (и, соответственно, желаем), но предприимчив и лукав (а, значит, своего не упускающий). Правду о нём удостоилось узнать и мне.

Или только мне?

Солнце лениво прижигало и без того удручённые земли. Вышки-молоты на горизонте застыли в одинаковых позах: носами склоняясь к некогда податливой и плодovitой, ныне – безжизненной и оцепенелой почве. Что это? Памятники прошлого, мира ушедших людей? Напоминание-назидание нам, оставшимся? Или чудо, коим способны владеть лишь боги?

Моя семья получила моё согласие (нет) и в плату провизию на год вперёд (да). Старшая сестра – родная, с ребёнком на руках, в колыбели и ещё одним под сердцем – сказала, что будь так же чиста и непорочна, сама бы обратилась с предложением в Монастырь. Я ответила, что чистота её исчерпает себя окончательно после третьего опороса и третьего отца, а она фыркнула и, отвернувшись, отправила к средней сестре. Средняя сестра посмеялась моему недовольству: она мечтала о красоте, но красоте, которую предпочитают мужчины (не люди – мужчины). Я ответила, что опорочу своим поступком семью, а она запретила так думать, ибо пребывание в Монастыре есть великая честь и заслуга. Младшая сестра агукнула. Я ответила, что постараюсь вернуться и воочию лицезреть её взросление. И ушла.

Родители тешили-утешали речами о том, что теперь – наконец! – заживут. Да и я тоже. Отец молился земле за мою красоту, а мать ликующе пересчитывала мешки с крупой, которые отстёгивал приехавший к полудню грузовик.

– Она? – хмыкнул скрюченный мальчишка подле водителя.

Старшая сестра пригрозила ему:

– Будь ласковее! Эта девочка самого Господина.

– Её бы помыть, – ответил мальчишка.

– Помоют, не думай, – пробурчала средняя сестра, – а ты таким и останешься. Вот, а! чужому счастью не счастлив, падок на уксус.

Водитель требовал, и чернила с почти голых перьев плясали на бумаге. Затем велел подготовить меня к завтрашнему отправлению. Мать и отец помолились земле, ответили согласием и проводили гостей.

Соседи – хвала небесам! отделенные от нас верстой, иначе бы удручали присутствием и голодными глазами каждый отмеренный им упомянутыми небесами год – взмахнули руками и пригласили к себе, но по итогу пришли сами. Злобная челюсть старика Сантьяго скрежетала от вида яств, коими никогда не наполнится его лачуга, а Бета – жилистая и хмурая тётка – причитала, как же нашей семье повезло.

– Повезло! – воскликнула мать. – Такая красота везением не объясняется. Помолимся земле!

И они вновь молились.

Меня посадили во главе стола и велели благодарить пантеон за оказанную честь.

– Не забывай, – подначивала мать, – однако, что истинные боги незримы. Мы продолжим служить земным и воспевать твоё благо среди них.

– Я же в этот момент буду среди небесных богов, что-то не сходится, – услышали сёстры и скрытно фыркнули в тарелки.

Мы вкушали хлеб и кашу; зерна и воды теперь было достаточно.

Соседи разнесли молву о радости моего отправления в Монастырь. На утро все желали стать нашими друзьями – так яростно и ненасытно, что отцу пришлось выудить из шкафа ружьё (хотя заряжалось оно по-прежнему солью) и пригрозить наступающим. Руки голодающих тянулись к оставленным в погребе мешкам провизии.

Люди хотели жить хорошо, но хорошо жили лишь Боги (которые предпочли жить на небе; условно) и – как вы уже могли понять – Монастырь, потому что Боги спускались с неба (условного), дабы вкусить сладость своих возвращенных плодов: прекрасных и юных дев.

А простые люди...они как-то работали, что-то делали и чем-то перебивались. Всё время – что-то, как-то и чем-то. Земли наши были мертвы и окутаны смрадом прошедшей однажды войны. Может, нескольких. Никто не помнил. Огромные поля, которые засеивали Боги и на которых они разрешали руководить избранным, находились к югу дальше. А мы...мы охраняли нефтяные вышки, хотя культу нефти не поклонялись уже которые века, а саму эту нефть – черпай ложкой! – потреблять было нельзя. Ни питья, ни еды по итогу.

Но теперь семья моя в достатке. Если родители будут расчётливы или устроят скромное дело (давать в долг – забирать вдвойне, например) припасов хватит на взросление ещё одной дочери, которая чертами своего лица внушит надежду сытого завтра.

Я в последний раз припадаю лицом к кровати в отчем доме. На следующий день у дома меня ожидает всё тот же грузовик. Имя ему «конвой». Вместо объятий, наставлений и пожеланий доброго пути родители незамысловато жестикулируют, предаваясь молитвенным чтением. Они в очередной раз благодарят землю и – после – отдают в руки приближенных к некому Господину.

– Важная персона! – причитает тётка Бета и стрекочет кому-то из проходящих, что вчера бывала в нашем доме.

Бывала там и до моего отправления в Монастырь, о чём умалчивает.

– Вот деревенщина! – плюёт под ноги первый водитель. Так он отзывается об увиденных подле нефтяных ферм работагах. – И как их земля носит?

– А они сами по ней носятся, – отвечает второй водитель. Тот, который сменяет товарища через несколько часов пути. – Или сами землю носят. Потому места эти ещё обитаемы, да. Пребывающие здесь позабыли однажды сдохнуть.

– Тише, – хмыкает первый. – Красота оттуда.

Он мельком кивает на меня, сидящую позади.

– И что? – восклицает второй. – Оборванка есть оборванка. Из деревни её выкорчевали, но деревню из неё не выкорчевать.

Недовольный взгляд режет незнакомца, и он, будто бы ожидая того, восторженно добавляет:

– Надо же! Не глухая! Боссу понравится.

– А вот твоё обращение ко мне ему не понравится, – рычу наперерез. – Что я тебе делала?

– Ещё и говорливая...Ничего, милая. А по своей профессии – могла бы, – гогочет в ответ незнакомец.

Первый водитель, затолкнув ему в рот сигарету, велит молчать, и сам прикуривает крохотный свёрток.

– Ты, Красота, – говорит он, – внимания на черта не обращай. Девки-то не по его части, а на золотые слитки – вроде тебя – никаких сбережений не хватит. Злой он!

Вопрошающее лицо не медлит с ответом:

– Ты какого мнения? Моя има из таких была, и толку? Думают прекрасная жизнь у них вечна, а на деле? Покрываются морщинами и годами, заплывают жиром и самомнением, а хозяева их заводят новых кошек – да-да! – от старых избавляясь.

– Твоя мать из Монастыря? – спрашиваю я.

– Почти. Не из самого Монастыря, но жила хорошо. В Монастыре как? в Монастыре кошек стерилизуют, чтобы разгуливающим котам бед не было. А мой тятка – высокопоставленный человек, между прочим, был. Снабдил нас хатой и добрым именем, сказал, что и с работой поможет. Вот я здесь. У Босса. Правая лапа.

Едва не подавившись смехом, выбрасываю:

– Щенок!

– Что ты сказала?

– Мальчишка на побегушках, вот ты кто, – перебиваю нестерпимую гордыню. – Ты не правая лапа Босса, ты за ним и ты хвост.

Водители начинают спор.

Один заступает за меня, другой наступает на меня, один пытается утихомирить приятеля, второй пытается ухватить причину зачиненной драки (мой язык).

– Это Красота Босса, Лука! Успокойся!

– Красота должна запомнить одно! Вне Монастыря – она обыкновенная девка, которой могут эту красоту подпортить.

Забиваюсь в кресло и, отрекаясь от беседы, внимаю проносившимся за окном картинам запустелых и изживших себя деревень.

– Вот ведь... всё этим Богам, всё этому Монастырю, – причитает недовольный – с подбитой щекой и вдавленной в жёлтые зубы сигаретой. – А людям простым? А они простые, их дело малое: работать и молчать, молчать и работать. Всё Богам, всё Монастырю...

День дороги отбирает у меня родные земли и направляет в края изобилия, лоска и безрассудства. Я здороваюсь с новым домом. Уродливая вывеска с приветственными речами укачивает на каменную дорожку до главных ворот. Колючие прутья вмиг отгораживают от мира реального. Несколько женщин – в относительно скромных одеждах и с относительно скромными улыбками – проводят меня в кабинет. Пышные хвосты черных юбок, закрывающих часть бёдер, шелестят вдоль коридора. Черные купальники обтягивают вкусные тела. Я разглядываю пёстрые узоры на обоях, кованые столики под окнами, занавески, отдающие белизной и стиркой, и мягкие кресла. Голоса причитают о ласковом нраве хозяина, о красоте его резиденции и его придворных, о его любви к девочкам и заботливой «Мамочке». Но я упускаю эти слова: всё мимо, всё сквозь. Я разглядываю обои. До чего красивые: чистые, ровные, с обрамлением в виде белых колонн по углам. До чего красивые...

– ...желаешь?

Оборачиваюсь и ловлю несколько добрых взглядов склонившихся надо мной женщин.

– Кофей, сбитень? – с акцентом повторяет одна из них.

Другая говорит, что Отец скоро прибудет.

Господин, Босс, Хозяин, Отец... великое множество имён этого человека (того, что купил меня у моей семьи) говорило о его реальном величии: перед людьми, перед Богами (а, может, среди Богов?), перед миром в целом.

По разговорам я представляю низкорослого, покрытого сединой и потом, мужичка, с лукавыми крохотными глазками и с пухлым, висящим на ремне, омоньером. Хозяин этот носит, в моём представлении, костюм – отутюженный и кремового цвета; на шее петля в виде

затянутого галстука, на ногах чищенные боты. Хозяин распивает крепкие напитки и курит сигары, оценочно глядит и много молчит.

Женщины рассыпают наставления:

– Отвечай на все его вопросы, милочка!

– Будь добра и вежлива.

Одна голубка перебивает другую, добрые лица причитают о моих возможностях попасть в Монастырь. Но я, право, думала, уже в нём и уже безвозвратно...

– Поздоровайся, милочка! И не забудь поклониться.

– Угощайся! Он щедр и приветлив!

– Нет-нет, будь сдержана, и тогда он с интересом построит диалог.

– Непременно отвечай!

– Молчи и слушай!

Как вдруг восторженный голос из коридора вещает о приближении самого Господина. Женщины подхватывают меня и выталкивают из одного кабинета в другой – дальний и обитый тёмным деревом. Оказываюсь за двустворчатыми дверьми; передо мной пышные диваны.

Я ожидаю знакомства: падаю меж подушек и с волнением перебираю оборку юбки; мать пыталась нарядить меня под статью случаю (если бы случаем оказался поход на рынок, я непременно бы выглядела соответствующе).

Ткань у дивана грубая, жёсткая... Мечтаю змеей сползти на пол и припасть лицом к паркету. К дереву. К песку. К почве.

Почва, родные земли, отчий дом.

Дом.

– Приветствую, радость моя, – разряжает воздух мужской бас, и за спиной выплывает названный Отец. – Отныне ты принадлежишь мне и делать должна только то, что скажу тебе я. Поняла?

Он замирает напротив и протягивает стакан с танцующей рыжей жидкостью. Принимаю угощение: спешу подтянуть напиток к губам, но наперёд получаю укоризненный взгляд и лязг по рукам. Жидкость чертыхается и каплями ставит отпечатки на ворсистом ковре.

– Я разрешал?.. Именно! А ты делаешь только то, что велит хозяйский голос. Поняла?

Урок усвоен: в третий раз повторять не надо. И потому я киваю.

– Отвечать можешь без разрешения, – смеётся мужчина и указывает на стакан вновь.

Опасаюсь его.

И стакана, и мужчину... Не желаю оплошностей, не желаю вызывать сомнения в выборе меня, не желаю эха на семье.

– Теперь угощайся, радость, – скалится мужчина и, вложив стакан трясущимся пальцам, отступает.

Вот и я могу разглядеть его.

Лицо щадящее и доброе, глаза приветливые и уставшие, волосы курчавые – вороньи, с отблеском каштанов на концах; кружево мелких кратких шрамов опоясывает часть лица, сам он некрупный и жилистый, однако повадки животной поступи сменяются вялыми вибрациями.

– Садись – поговорим.

Растерянность роняет меня на диван, а мужчина роняет бутылку на стол.

– Сколько у тебя было любовников, радость моя?

Он задаёт свой первый вопрос (из роковых, щекочущих и судьбоносных), а я, опешив, тревожно вжимаюсь в мягкие и мятые подушки дивана.

– Не багровей, радость, – смеётся мужчина. – Не при мне так точно... А ответ твой отпечатался на прекрасном и молодом румянце. Вирго! Значит, родители твои – честные люди – на жертвенный камень водрузили добротную скотинку... До чего порядочные господа!

Порядки мы чтим особенно (по-особенному), и потому в Монастырь меня отдали больше от любви к себе, нежели от любви ко мне. Но можно ли назвать порядочными людей, что обменяли ребёнка на сытое брюхо? А чёрт проверял – то было понятно.

Укол с улыбкой врежется в мои просящие о чём-то глаза. Ропот и стыд сидят на левом и правом плечах.

– Так и хочется, радость, – клоочет мужской голос. – посмотреть на тебя в апостольнике и с руками в молитве. Но прошу, – интонация меняется тотчас, – узри истину: ныне ты обеспечена и обеспечена на всю оставшуюся жизнь. Считаешь, родители променяли кровь на несколько мешков овса и вершков репы?

Там была репа...?

– Я запрещаю так думать, ибо своим решением люди эти открыли тебе все доступные в Мире богатства: вкусную еду, покой без тревог, красивую одежду, крепкий сон, добрых друзей, богатых любовников и, само собой разумеющееся, лучшего хозяина. – Мужчина, обнажив зубы, смеётся. – Перед тобой дозволено открыться вратам в рай, ибо рай есть и он на земле. А сама ты готова вступить в Монастырь?

Мыслями путаюсь в его словах и в своих возможностях. Всё перечисленное им ублажило бы моих сестёр, но меня не трогало вовсе... И неужели я могла отказаться от Монастыря и вернуться домой? Нет...нет, уже не могла. Вопрос – формальность. Вопрошающий взгляд – условность.

– Ты заходишь в Монастырь добровольно, но выйти из него уже не смеешь. Улавливаешь?

И я утвердительно качаю головой. От ледяного стакана немеют пальцы. Смотрю на пальцы, смотрю на стакан, получаю наказ:

– Пей-пей, радость.

Припадаю губами к напитку – резко: глотаю и потому обжигаю горло, и потому кашлем разрезаю кабинетные стены. Мужская рука ласково касается спины, улыбка очерчивает грубую кожу.

– А ты мне нравишься, – со смехом роняет мужчина, ещё не осознавая грядущего, не предвидя, что любые слова находят вибрации и отголоски в будущем.

Стакан ударяется о край стола, стан напротив позволяет расслабиться.

Всё здесь выглядело иначе, отличительно от мира за стенами. Фальшивый порядок, фальшивые улыбки, фальшивые речи. Однако мне видится, что вот он – реальный мир; а дом, оставшийся за пустошью, – блажь, сон; те люди взращивали меня – зная с рождения – для Монастыря, для его Хозяина.

– Смотри на меня, – велит мужчина. – О, каков взгляд! Пытливая непокорность, ведь ты не хочешь – и именно это прекрасно... Ты мне нравишься, – повторяет он, созывая тем самым беду. – Уже познакомилась с Мамочкой? Или эти трясогузки то и дело напевали дифирамбы о Хозяине? Неисправимые женщины...! Нет, не знаешь Мамочку? Слушай. Мамочка будет следить за твоей красотой – внешней и внутренней. Если появятся беспокойства – ступай к ней. Неважно какие – Мамочка пригладит и успокоит, поможет справиться и оправиться. Идёт?

Я молча соглашаюсь.

– Слушай, – восклицает мужчина, – а ты говорить-то умеешь?

Утвердительно качаю головой и, осознав глупость, поделённую на равные части с растерянностью, добавляю вровень с его голосом «Да»:

– Издеваешься?

Он ведёт бровью и просит повториться. Несуразность ситуации надбавкой ударов коптит сердце. На какой вопрос мне следовало ответить? На умение говорить или на манер наглой беседы? Секунды щёлкают нас обоих по носу; мужчина вздыхает и предлагает позабыть случившееся.

– Итак, – заключает он, – зови меня как угодно твоей прекрасной душе. Отец, господин, хозяин... как угодно. Главное условие – не по имени.

– А как твоё имя? – спрашиваю я, чему мужчина поражается и с чего смеётся.

– Твоя семья верующая. Значит, вы поклоняетесь богам, всё логично. Значит, родителям было должно научить дочь именам божеств. Так?

– Родители верят в Богов земли, а не неба.

– Однако же кровь девственницы пускают небесному светилу, – язвит мужчина. – На алтаре меж двух пантеонов... Ты сказала «родители верят». А сама?

– Предпочитаю верить в зримое.

– Я не зрим?

– Ты не Бог.

Его руки припадают к графину, а графин пускает по горлышку напиток. Хозяин с наслаждением пьёт и потом с таким же наслаждением интересуется у меня прожитыми под солнцем годами.

Зачем он спрашивает? Он знал, что покупает.

– Не молчи, – приказывает мужчина.

– Шестнадцать, – отвечаю я.

– Самый сок. А выглядишь старше. Года – они ведь не на коже, милая, не на лице; они во взгляде, в глазах. – Бровь незамысловато танцует. – Так отчего в роду безымянных работяг явила себя дивная атеистка? Хотя, знаешь, – он откидывается в кресле – со скрипом стула и всплеском напитка, – твоя непокорность заключена в твоих годах. Ещё немного – и мир притупит твоё назревающее послушание. А твоё послушание сейчас притуплю я. Понимаешь, радость?

И он кошкой прыгает из кресла: кулаки прижигают подлокотники и порывом ветра заставляют дрогнуть рукава глупого платья цвета вяленой рыбы. Он нависает – быстро и страшно; и быстро и страшно шипит на ухо:

– Солжёшь мне ещё раз – высеку так, что не сможешь ни сидеть, ни стоять, ни лежать, ни даже думать. Понимаешь, радость? И никто не захочет касаться твоего некогда хорошего тела, а если ты перестанешь нести в Монастырь прибыль – пеняй на себя. Хорошее тело равно хороший заработок, равно стабильность. Иначе – прочь.

Мужчина отступает и выуживает из ящика стола пачку сигарет; острая игла западает меж зубов и пускает кольцообразный дым. Выжидаю. Выжидаю, но совладать с характером не могу, и потому выпаливаю гневно:

– Блефуешь, папочка.

Он забавляется ответу.

– Наглая мерзавка, – причитает мужчина. – Язвит и кому? На первый раз я тебя прощаю! Но не вздумай впредь обращаться ко мне с такой интонацией. Накажу. Да-да, и за это тоже.

– Блефуешь.

– Поясняй.

Он затягивается вновь.

– Ты будешь оберегать меня, пока не придет первый покупатель. В этом смысл.

– Умница, – зудит властный голос. – Но сказанное тобой сейчас останется сказанным тобой потом. На данный момент – повторюсь, наглая мерзавка – ты и вправду цивилизный лист. Но не думай, что я забываю слова, не думай, что я отпущу их После. Я мечтаю наказать тебя за твою наглость. Мечтаю. Понимаешь, радость?

Хочу процедить очередное «поняла, папочка», но, глянув в перспективу скорого, решаю смолчать.

Мужской голос повторяет «умница» и следом вопрошает:

– Ты поняла, почему я пригрозил тебе наказанием в первый раз?

- Понятней быть не может.
- Тогда отвечай честно.
- Девятнадцать.
- Именно, радость! Так зачем ты соврала?
- А ты зачем спросил?
- Не понял, – теряется мужчина.
- Если знал, – объясняю я. – Ты знал, но всё равно спросил. По той же причине я соврала.

Мужчина поправляет ворот сцепляющей горло рубахи и причитает незнакомыми сплетениями букв.

– Возвращаясь к теме возраста, – вскоре лепечет Хозяин Монастыря. – Ты – чудесное вино, – напитокывается энтузиазмом и упомянутым; из наполняемого мгновение спустя бокала, – твой возраст, Луна, впитал самое вкусное и сладкое, теперь хоть росинки с тебя собирай. Так бы и пробежался по спине языком.

И он показывает соответствующие движения: губы припаиваются к незримому телу. Моему.

- Вновь багровеешь, радость. Лучше ответь, как удалось вину настояться?

И Хозяин Монастыря рассказывает, что к землям его прибывают конвои с совершенно юными цветами, отходившими под солнцем и луной по четырнадцать лет. Треть вдобавок поражает и радует.

- Не стесняйся того, – заверяет мужчина, – недоступность нынче высока в цене.

На скромный взмах головой Хозяин Монастыря скрипит зубами. Повторяет:

- Ты не ответила. Как вину удалось настояться?

А как наставилось вино, которое он пил? Пролёживало себе в погребке и света не видело; просто однажды мужские руки обхватили, откупорили и вылакали.

Мысли не озвучиваю – молчу.

- Молчишь, – подытоживает Хозяин Монастыря – почти нервно, почти отстранённо. –

А я приказываю: отвечай.

Роняю бессмысленное:

- Мне это неинтересно.

– Вот как. А полюбить придётся: ныне-то – профессия.

– Люди всегда работают на нелюбимых работах, мне говорили.

– Я люблю свою работу, – не без ехидства добавляет мужчина. – Красивые женщины, большие деньги, богатые гости. Как такое не любить?

– Что ты сделал, чтобы прийти к этому?

– К Монастырю? – Он задумывается: лисье лицо дрожит. – Ты первая, кто поинтересовался. А сделал много... Давай отложим подобный разговор со дня знакомства, договорились?

– Обещай, что расскажешь, – требую я.

– Вот как... – повторяет он. – Обещаний тоже никто не просил и такую интонацию – вообще – избегал. Ты отличительна, моя девочка. А что это значит?

Голос его звучит так нежно и трепетно, и я вопрошающе выпаливаю:

– Что ты не продашь меня?

– Что я продам тебя подороже, – грохочет мужчина.

И наполняет стаканы; я вижу блестящее дно бутылки.

– Никогда не перебарщивай с выпивкой.

– Но ты сам угощаешь.

– В этом смысл, – улыбается мужчина и докуривает сигарету. – Я проверяю. Другие, бывает, тоже.

Что тут можно было проверять?

– Тебя зовут Луна, правильно?

– Луна, – эхом подхватываю я.

– Прекрасно, Луна. – Мужчина качает головой.

Прикладываюсь губами к стакану и в этот же миг внимаю следующему вопросу:

– Что ты умеешь?

От прозрачной пепельницы вздымается клуб дыма; целуется с настольной лампой и выбирается сквозь приоткрытое окно.

– Готовить, – ошеломляюще для Хозяина Монастыря швыряю я. – Стирать, прибирать. Детей воспитывать – благо сёстры есть: разные игры знаю, песни, сказы.

Мужчина косится и, едва открыв рот, отвечает:

– Я имел в виду...

– Знаю, что ты имел в виду, – перебиваю его. – Ничего я не умею, ясно? Из необходимого тебе. А то, что умею, перечислила. Ни больше, ни меньше.

– Откуда ты, святая, и в Монастырь попала? Тревожно такую красоту губить. Вот тут коробит. – И он кулаком ударяет по своей груди.

– Ничего, пройдёт.

– Пройдёт, ты права, – энергично улыбается мужчина и выуживает из ящика стола кипу бумаг. – Подпись поставишь?

– Я еще не дала согласия.

– О..! – Восторгается голос. А затем протягивает задумчиво и не без внутреннего пытливого ехидства: – О-о-о-о... Вот ты какая. Хорошо... Согласна ли ты, о Луна, вступить в Монастырь? Повторяю: заходишь – добровольно, выйти – возможности нет.

И я по своей глупости – тревожной, нарастающей, предопределённой страхом и верой в возможное спасение – медлю. Медлю, на что мужчина добавляет:

– Если не согласна, можешь вернуться домой. Ты мне понравилась, а потому я доставлю тебя в твою деревню без платы, на том же транспорте, на котором тебя привезли. Не бойся, по пустыням одной плутать не придётся. Но учти, плату с твоих родителей я изыму соответствующую и не без процентов.

Из обыкновенного любопытства спрашиваю о процентах. Что это и для чего.

– Твои родители умеют читать?

– На старом наречии простолюдины не говорят, а все бумаги составлены на нём, я видела.

– Значит, понимаешь, что мать и отец твои подписали бумаги не глядя?

– Более чем.

– Значит, понимаешь, что я, предпочитая безопасность со всех сторон, договор оформляю на выгодных для себя условиях? Если сделка срывается, я забираю данное и сверх того за потраченное время и средства. Так окупается любая девочка.

– Разумно.

– Почему ты спросила? – ссадит мужчину. – Гретишь побегом?

– Желания послушницы в Монастыре не учитываются, – забавляюсь я.

– Наглая ты мерзавка, – вновь смеётся мой собеседник и пальцем отбивает по краю стола.

Решаю признаться:

– Это простой интерес. Я отвечу согласием, но пока не ответила, желаю правды.

– Давай объясню. Думаю, про единственную возможность и великую честь оказаться в Монастыре тебе уже напели родные сёстры. Неродные сёстры ещё напойт о сладкой жизни: в провинции подобное не встречается. За пределами Монастыря люди мрут и изживают друг друга, здесь же – лакомятся и довольствуются божественной щедростью. Если откажешься сейчас – до дома своё превосходство вряд ли доставишь, а, смею заметить, продать его ты можешь мне и продать за хорошие «деньги». Я обязуюсь обеспечивать тебя, ухаживать за тобой и предоставлять тебе работу. Ты будешь знатной женщиной в божественных кругах, но не выше меня – я стану твоим, назовем это, духовным наставником. Можешь отдаться по пути домой первому

встречному и познать горечь жизни за пустошью, а можешь продать свою невинность знатному господину и отныне не думать об удручающей жизни за пределами Монастыря. И твой ответ?

– Я согласна, – выпаливаю быстро и громко.

Взваливаю груз решения с плеч: помыслами о родительском доме и невозможности подвести их. Это решение моей семьи: они избрали для меня добрый путь, они спрогнозировали лучшую из возможных дорог. Они дали хорошую жизнь мне и хорошей жизнью обеспечили себя.

– Прекрасно, – кивает мужчина. Во взгляде его теряется немой вопрос: почему я дала согласие без внутреннего согласия (о! то видно, знаю). – Подпись здесь, здесь и здесь.

Я подвигаю к себе перо и чернильницу и, макнув кончик белого лебедя в смольную грязь, вырисовываю своё имя. Трижды.

– Зачитаешь договор?

– Я рассказал о нём вкратце. Хочешь прочитать сама – выучись старому наречию.

– Очень смешно, – процеживаю сквозь зубы и повторяю процедуру с другим экземпляром.

– Что ты сказала? – без улыбки улыбается мужчина. – Повторишь?

Откладываю перо и протягиваю бумаги. Молча.

Хозяин проверяет договор и – опосля – прячет в ящик. Ящик, в свою очередь, запирает на ключ, который скармливает пустому кубку на книжной полке. Лязг пляшущего металла на фоне душистой тишины напоминает заключение в клетку.

– Луна, – обращается мужчина, – не испытывай моё терпение. Это тебе на будущее.

Учтиво роняю взгляд (не без вызова), и хохот собеседника отбивает о красивые стены кабинета.

– За что ты свалилась мне на голову? – смеётся мужчина. – Ладно... Расскажи о своих родителях. Значит, они верующие?

– И верующие тоже, – отвечаю я.

– Прекрасно, – хмыкает мужчина. – А ещё, радость?

– Работающие, потребляющие, живущие, платящие по налогам земным богам и проводящие службы во имя охраняющих их небесных богов.

И Хозяин Монастыря ловит острый взгляд, который до этого – утаённый – вызволялся лишь с приправленными ядом речами.

– Надо же! – восторгается. – И как я раньше не углядел этого огня?

Он склоняется и сжимает в кулаках кулаки.

– Радость моя, – на выдохе повторяет мужчина. – Не окажись моей погибелью.

Шёпот прижигает и без того – по ощущениям – пылающие щёки. Хозяин Монастыря в очередной раз ласково улыбается и продолжает мысль:

– Удивительная натура из семьи рвани... О, ну не смотри так, запрещаю.

На слова эти роняю взгляд обратно к кулакам. Пересчитываю удвоенные костяшки пальцев и пытаюсь вычитать синие, хаотично вбитые в кожу, чернила. Старое наречие.

– Ты посмела думать, что они способны увлечь меня чем-то ещё? – причитает мужчина. – Будь уверена, семья твоя в благополучии и без нужд. Благополучие не изыму, нужды не добавлю. Они подарили мне прекраснейшее из своих земель, а потому заслужили награду. Хочешь поведать свою историю, радость?

Но я молчу.

– Разумеется, – мусолит на губах. – Разумеется. А теперь скажи, кто выучил тебя грамоте?

Пёрышко в пальчиках сидит как следует.

– Разве теперь она пригодится?

– Что я говорил про терпение?

– Приехавшая однажды в нашу деревенскую брешь тётка со своим сектантским движением.

– Какие слова, Луна! Так ты и её покорила?

– Что значит «и её»? – цепляюсь я, на что мужчина прикусывает губу и велит продолжать. – Я помогла ей устроить собрание и позвала на него знакомых, а в ответ попросила выучить письмо. Дело не быстрое, но последующие дни практики дали свои плоды.

– Удивительно.

Поднимаю бровь. В который раз.

– Удивительно, потому что у, прости меня, деревенщин – от и до – вышло нечто сообразительное, с характером, тягой к знаниям и способностью к обучению. За что ты свалилась на голову тем людям? – парирует мужчина. – Ты вскормила себя сама... Вот, читай! – И он, сложив передо мной кулаки, кивает на костяшки.

– Не умею. Я не знаю старого наречия.

– Читай. Запоминай. Первые две буквы означают отрицание, затем идёт пробел, он как воздух, пустое пространство, чтобы выдержать паузу. Последующие буквы означают святость. Всё вместе – её отсутствие.

Он зачитывает, и я повторяю. Касаясь каждой из выбитых чернилами букв, выговариваю и проговариваю их. Мужчина заключает действительность моих возможностей и с похвалой велит впредь этим не заниматься. Заинтересованный взгляд сменяется тучностью. Он огибаёт меня и терпеливо, хищнически петляет за спиной. Начинаю перебрасывать ногу на ногу и обратно, взбивать подол глупого платья и поправлять спутанные от ветреной дороги волосы. Мелькания смущают и донимают. Пугают. Настораживают.

– Расслабься, – велит голос – почти над плечом. – Бояться тебе меня не следует. Не меня так точно, потому что дать я могу намного больше, чем взять взамен.

Волнение от слов не преуменьшается, а – наоборот – возрастает. Мужчина замирает подле и, припав боком к столу, берет за руки. Перебарываю дрожь и выдавливаю самое гордое выражение лица.

– И как я мог рассчитывать, что этот цветок, знающий в людях и себе толк, посмеет открыться первому встречному? Как просчитать смоченные в иронии обращения, как увидеть грань, делящую глупость (от твоего незнания и непонимания многих вещей) и заведомо подготовленную ложь (которая колит своей непосредственностью). О, ты не так проста, радость.

И он отпускает мои руки.

Ловлю себя на мысли, что здешний всеотец вправе требовать любых речей, пригрозив семьёй или расправой с ней, но то не происходит.

– Добро пожаловать в Монастырь, Луна. Отныне ты не покинешь его стены, отныне ты принадлежишь мне, – улыбается мужчина.

И направляет к Мамочке.

Мамочку зовут Ману. У неё угольные волосы многотысячной армии тонких кос, у неё кошачьи глаза и орлиный нос, у неё пышные бедра и тонкая талия, а ещё громкий и властный и в этот же момент ласковый и утешающий голос. Мамочка расправляет руки и прижимает меня к стоящей дыбом, благодаря чёрному корсету, груди. Женщина журчит о приятности встречи и приговаривает:

– Ни о чём не волнуйся, девочка. Всё спрашивай, всё рассказывай, во всём советуйся. Договорились? Бо!, да ты птичка – хрупкая-хрупкая, тоненькая.

И она в очередной раз прижимает к себе. Смуглая кожа пахнет молоком.

– Как твоё имя, птичка? Обожди-обожди! Совсем забыла сказать! Все твои секреты останутся меж нами, о, это я обещаю! Папочке – ни слова, ни-ни, совершенно. Меня зовут Ману, и я единственная, кому разрешено иметь секреты. Я кладёшь тайн, ибо девочки обнажают их равно телам, а я прячу равно материнским рукам. Договорились? Бо! Что за птичка! Ты не

свела с ума папочку? Как он тебе? Люблю этого беса! – ласковый он со всеми без исключения, каждая девочка равна его любимице.

Да приятного в том мало, ведь, думалось мне, женщины любят исключительность и явного соперничества (даже за внимание проклятого сутенера) не приемлют. Вслух того не произношу. Лишь растерянно пожимаю плечами и едва открываю рот.

– Бо! Птичка...! Ты хоть говорливая? Щебетать умеешь?

Ману показала мне безрассудной, беззаботной и болтливой. И только одна из этих черт окажется истиной; естество её мне доведётся узнать несколько позже. Но Мамочка не притворилась, нет. То было отточенным навыком, мастерством, профессиональным поведением, как однажды проговорится Отец.

– Было дело девочка к нам пришла, – хмыкнула Ману. – После часового допроса оказалась немой. Знаешь, неловко так вышло. Да и мне пришлось возмещать упущенные разговоры и говорить вдвое больше... хотя для меня это не проблема, сама видишь. Так ты говоришь? Птичка? Стесняешься, боишься?

Женщина так быстро выпаливает одно слово за другим, выплёвывает один слог за следующим, что я, едва разобравшись в них, выдаю ответ на последнее:

– Нет!

Вместе с тем Ману повторяет: «Бо! Говорить умеешь?»

Одна неловкая беседа за другой...

Я разочарованно (от самой себя, не иначе!) качаю головой, а Ману, прищурившись, выдает:

– Издеваешься что ли?... Ладно, забыли. Проходи. Садись! – и она усаживает меня на малиновый диван. – Бо, птичка! Ты не против этого прозвища? Такая ты тоненькая, приятная. А как тебе папочка? Понравился?

– Сказал, что высечет.

– Ох!

Женщина вздыхает и складывает руки на груди.

– Мне он такого не говорит. Обидно! – и Ману заливается смехом. – Думаю, заслуженно, птичка! И, думаю, острых на язык он предпочитает в постели, а не в разговоре. А?

Если я должна ответить и на это, предпочту вновь сойти за немую или глупую.

– Меня зовут Луна, – бросаю наотмашь и быстро улыбаюсь.

Ману хватает меня под руки и, стаскивая с дивана, рвётся показать будущий Дом. Кабинет оказывается по одной части Монастыря, спальная и рабочие – по другой. Мы проходим несколько длинных коридоров и оказываемся у жилых комнат. Ману показывает, где и как спят другие девочки – цепкие и любопытные взгляды провожают нас вдоль сиреневых стен. В каждой спальне по несколько кроватей, к каждой кровати прилагается тумба, а у каждой тумбы по светильнику. Следом женщина показывает Бани – от помещений веет жаром и наготой. Ещё дальше – комнаты, в которых девочки готовятся к приему важных гостей. Едва успеваю разглядеть одну из них: брюнетка подбирает сальные волосы в хвост и, накренившись к зеркалу, обводит угольным карандашом глаза. Последним – столовая. Мы спускаемся по узкой винтовой лестнице и замираем в переполненном столами и скамьями зале. Соседствующая дверь уводит на кухню, а мамочка предупреждает, что до встречи с первым покупателем в мои обязанности входит следующее:

– Ты должна помогать с готовкой и уборкой. Работа грязная, но сытная. И недолгая. До момента, пока не приступишь к делам монастырской кошки после стерилизации или не отправишься в качестве лота чьей-нибудь женой.

– Повтори? – дрогнувшим голосом уточняю я.

– Какой из пунктов папочка не объяснил? – Ману прищуривается. – Монастырские девы лишены способности зачать ребёнка, что очень удобно в первую очередь для самих монастыр-

ских дев. Операция после первого покупателя, не медлим. Время на восстановление в пару дней и за работу. Однако до стерилизации Отец может надумать устроить торги и выставить тебя на продажу. Перспектива: станешь женой кого-либо из пантеона. В этот момент кошка лишается статуса монастырской девы, договор владения переоформляется, хозяин меняется. Ну, чего молчишь? Чего смолкла и вытаращилась?

– Не понимаю.

– Бо! Соображай быстрее, птичка, всё ты поняла, но ещё не осознала. В договоре Папочкой прописано и тобой подписано.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.